МОЖНО ЛИ БЫТЬ НА ВОСЬМОМ НЕБЕ?

В некоторой книге, где растут на дереве фиги, посреди страницы, которой правят царь и царица, жили-были у этих царя с царицей три сына. Первый был, можно сказать, семи пядей во лбу, второй восьми, а третий шести — можно было бы сказать, но так говорить не принято. И не принято иметь во лбу больше или меньше семи пядей, — если ты, конечно, умный человек. А если ты не умный человек, то никто тебе твоих пядей считать не станет. И были эти три сына похожи друг на друга как две капли воды… Обидно, конечно. Три сына, а похожи как две капли воды. Куда, спрашивается, девалась еще одна капля? Почему бы трем сыновьям не быть похожими как три капли воды? Оказывается, так нельзя. Можно быть похожим лишь как две капли воды, и ни на каплю больше или меньше. Ну, да ладно, важны ведь не капли эти самые, а сыновья, а их-то было не двое, а трое.

Вот что главное. Когда родился первый сын, царь с царицей были, можно сказать, на седьмом небе. И когда родился второй, и когда родился третий, они снова были на седьмом небе… Ни на шестом, ни на восьмом небе им побывать так и не удалось, потому что в этой книге действовал строгий закон: радоваться радуйся, но не выше и не ниже седьмого неба. Когда сыновья выросли, они выглядели на все сто и выглядели бы на все двести, но на двести выглядеть было нельзя. И на девяносто выглядеть было нельзя. Только на все сто — ни больше ни меньше.

Увидев таких красивых и умных сыновей, придворные согнулись в три погибели и наговорили с три короба комплиментов. Они бы согнулись в четыре погибели и наговорили с четыре короба комплиментов, но так низко здесь никто не кланялся и никто так много не говорил.

— Опять двадцать пять! — сказал царь, потому что опять всегда двадцать пять, а не двадцать шесть и не двадцать четыре. — И когда я вас отучу от этого подхалимства и чинопочитания? Ну, хорошие дети, но зачем же говорить им об этом в глаза?

— У нас всегда так: о хорошем в глаза, о плохом — за глаза, — поддала жару царица.

А сыновья высказались еще более решительно: — Всыпать им по второе число и прогнать в четыре шеи на все три стороны!

И сразу все увидели, что сыновья выглядят не на все сто и что у них не по семи пядей во лбу, а гораздо меньше. Потому что им было неизвестно, что всыпать можно только по первое число, прогнать только в три шеи и только на все четыре стороны. Да и вообще таких грубых выражений человек семи пядей не станет употреблять: он будет говорить и грамотно, и культурно.

Вот и вся сказка, рассказанная, правда, с пятого на десятое, потому что с десятого на двадцатое было бы слишком коротко, а со второго на пятое — слишком длинно.

И.Тургенев

МОРСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку — и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку — и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами; молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.

Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Ноябрь, 1879